



Д. СТАРИКОВ

## ПАРАДОКСЫ

**Р**одька Гуляев — герой повести В. Тендрякова «Чудотворная» — случайно нашел на берегу реки доску с нарисованным на ней неразличимым темным ликом, уставившим куда-то в бок неподвижные белки глаз... Доска оказалась старой иконой — по уверениям старух, «чудотворной». И в самом деле, начала она творить с Родькой нехорошие чудеса... Мать и бабка заставили надеть на шею, под пионерский галстук, медный крестик и говорить, глядя на темную доску и крестя лоб, непонятное и унижительное: «прости, господи». Как мокрыцы на сырость, сползли в дом странные, а то и страшные существа. Озорного мальчишку стараются превратить в «Пантелеймона-праведника», кланяются ему до земли, ахают и вздыхают, просят о чем-то, мочат таинственными рассказами. Душно Родьке с этими липкими, нечистыми людьми, потянули они его в какой-то глубокий, страшный омут, поссорили с друзьями. Бежит мальчишка от сверстников, сам не зная куда, задыхается от обиды, от неосознанного стыда — и рвет с шеи крестик, еще не чувствуя, как больно врезается в кожу бабкин крепкий шнурок...

Таково содержание небольшого отрывка из «Чудотворной», печатавшегося в газете. Что «прибавляла» к нему вся повесть?

Знание деревенской жизни, умение найти свежую деталь, хорошее чувство стиля — все эти качества, заслуженно обеспечившие немалый успех прежним работам В. Тендрякова, развернулись в «Чудотворной» ярко

и многосторонне. Как живые глядят на нас с ее страниц Родька Гуляев, его суровая бабка, прозванная Грачихой, его мать, сдавшаяся перед жизненными неурядицами, его твердая и отзывчивая душой учительница, его сверстники... А отец Дмитрий — не Димитрий, а именно Дмитрий! — «современный», вполне «лояльный» священник, умеющий и вовремя вмешаться в события, и вовремя отойти в сторонку! А безногий Киндя, растерявший душу и человечье обличье по базарным пивным!..

Почему, однако, эта повесть уступает по силе лучшим произведениям В. Тендрякова?

Широкой, емкой, вмещающей многие и многие сложные противоречия современности, оказалась под его пером история женитьбы Федора Соловейкова в повести «Не ко двору». За отношениями Федора с семьей Ряшкиных — столкновение двух общественных сил, противоположных во всем: в жизненных целях, в образе жизни, во взглядах на труд, на людей, на семью. «Личный» сюжет повести «Не ко двору», строящийся казалось бы, лишь на взаимоотношениях Федора и Стеши, развернул широкую тему борьбы эгоизма и коллективизма, человеческого убожества и красоты, мелкого хищного делячества и радостного творческого труда... Вот почему, захватив в свое стремительное, исполненное драматизма движение и тракториста Чижова, и председателя Варвару, и бюро райкома комсомола, сюжет повести исчерпывался там, где наконец-то дрогнула, новым, необычно тоскливым звуком запела какая-то струнка в душе Стеши... Вольно было тем, кто снимал кинофильм «Чужая родня», придумывать счастливый конец семейной драмы Соловейкова! Мог быть и такой конец, мог быть и другой — писатель сказал своей повестью все, что хотел сказать, что не мог не сказать...

А сюжет очерка об Иване Чупрове? Как будто его движение раскрывает перед нами лишь усиливающееся влияние чуждых нашему строю, нечистоплотных людшек на коммуниста Чупрова. Но кто скажет, что содержание рассказа сводится лишь к предостережению: «не попадай в сети мошенников»? Ведь падение Чупрова, связанное с объективными трудностями послевоенного времени, было обусловлено появлением в его

психологии делячества и самоуправства, несовместимых с коммунистическим стилем работы. В утрате партийной принципиальности прежде всего и коренилась драма субъективно честного и преданного колхозу председателя, который незаметно для себя и под давлением тяжелых обстоятельств забрел в болото.

В лучших работах В. Тендрякова сюжет не иллюстрирует какую-либо одну, пусть важную и глубокую мысль; в них развитие действия вскрывает сложное переплетение жизненных противоречий, преодолевая рамки избранной темы, придавая произведению необходимую цельность и драматическую напряженность.

В повести «Тугой узел» писатель попытался непосредственно, в действии развернуть это широкое содержание сюжета.— так сказать, вывести его наружу, построить произведение многоплановое. Получился, однако, проигрыш в глубине и остроте поставленных автором общественных проблем: история формирования характера Саши не выдержала соседства с неизмеримо более интересной и важной историей карьериста Мансурова; переплести, а тем более слить их воедино не удалось: они не обогащали, но скорее подменяли друг друга.

«Чудотворная», а за ней «Тройка, семерка, туз», как и большинство других коротких повестей В. Тендрякова, построены проще. Но художественная цельность их — уже не от богатства... Стремление Родьки вначале обороняться от посягательств Грачихи, затем проникнуть в «тайну» существования бога; душевный надлом, приведший мальчика даже к попытке самоубийства,— таковы рамки, в пределах которых, «от» и «до», разворачивалась в повести антирелигиозная тема. *Расказом* о том, как заставляли Родьку надеть нательный крестик и что из этого получилось, вполне исчерпывалось основное содержание повести.

В. Тендряков как бы почувствовал это — не отсюда ли ранее несвойственная его стилю динамичность повествования (таинственная находка; побег Родьки из дому; драка; ночной поход в старую церковь; столкновение Парасковьи Петровны с Грачихой и с Киндей и т. д.)? Однако сам по себе увлекательный сюжет «Чудотворной» менее волнует, чем лишенный внешней

занимательности сюжет повести «Не ко двору». На смену глубокому драматизму отношений Соловейкова и Ряшкиных пришло нагнетание переживаний — одного за другим, но по существу никак не отличавшихся друг от друга. Стремительное развитие сюжета оборачивалось топтанием на месте...

В ткань небольшой повести, явно утяжеляя ее, вошли словесные диспуты, разговор в райкоме партии, размышления автора и героев. Эти добавления к сюжету «Чудотворной», хотя и вызванные гражданским чувством писателя, его стремлением сказать важное и нужное слово об актуальной проблеме, оказались здесь художественно неорганичными. Сюжет повести не давал возможности широко развернуть перед читателем характеры взрослых героев повествования и *потому* потребовал авторских отступлений.

Нет худа без добра. Сюжет «Чудотворной», ограничив писателя в способах раскрытия его героев, заставил, в частности, сосредоточиться на портретной характеристике. И все-таки эти очевидные приобретения не возмещали потерь. Читая повесть «Не ко двору», мы заглянули в сени Силана Ряшкина, где стоит его знаменитый ящик со множеством отделений; мы увидели дедовский сундук, густо пахнувший махоркой; мы узнали: спит Силан на полотах, потому что жалеет пышную кровать; мы услышали его разговоры о колхозе... Тогда-то мы и поняли этого крепкого, жилистого старика, который так замечательно — вместе с Федором — умеет косить, так душевно — заодно с Федором — может пожалеть подраненного зайчишку...

А Варвара, мать Родьки? На трех страничках торопливо рассказал нам писатель, как стали испуганными глаза этой деревенской женщины, как выцвели они и потускнели от слез, как поглупела и оступела она от страха и молитв, как дорог для нее Родька — единственная радость и надежда, которую она вместе с деспотичной матерью своей чуть было не довела до смерти... Но повести о Варваре В. Тендряков почему-то не написал...

Почему же? Мне кажется, его «Тройка, семерка, туз» и затем — «Суд» позволили ответить на этот очень важный для судьбы писателя вопрос.

Что узнали мы из повести «Тройка, семерка, туз» о жизни маленького поселка?

Тяжелый, грубый труд сплавщиков, определивший строгий распорядок; по субботам люди расходятся в свои деревни и вечером в воскресенье возвращаются — «попарившиеся в банях, обласканные женами, большинство довольные, кое-кто озабоченный домашними неурядицами». «Все хорошо, все налажено... Но все ли? Сытно, покойно, даже слишком покойно — сон да работа, работа да сон...» Хлебом единым... Нет больших интересов, нет широкого кругозора. Центр и средоточие всей жизни — сплав; «население маленького поселка существует для того, чтобы бесконечное шествие леса по реке не останавливалось». И потому-то Саша Дубинин не может отобрать у игроков карты, прекратить неумную и опасную забаву — его сила в слове «нужно», в разумном требовании лишь того, что имеет *непосредственное* отношение к лесосплаву... А тут сами же сплавщики скажут: «Нет для работы вреда? Нет. Ну и не зарывайся».

Так, по В. Тендрякову, живет этот «маленький кусочек необъятного мира».

Однако погодите-ка, кто же это сказал, что некие тридцать два советских человека существуют для того, чтобы шел по реке сплав? Какой-нибудь заевшийся дурак, от которого зависит районный кинопрокат, — сказал, не желая посылать в маленький поселок передвижку? Забюрократившийся руководитель местных лекторов, — сказал, не желая заботиться о таких вот отдаленных участках? Или, может быть, Саша Дубинин так думает, или кто-нибудь из его товарищей?

Нет, это утверждает автор. Он понимает, что не должно быть так, что, наоборот, сплав должен существовать для людей, как для людей должны существовать поля и мартены, фермы и электростанции. И именно для того, чтобы с наибольшей остротой и отчетливостью показать, какой неразвитой, первобытно бедной, хотя и чистой, остается душа человека, ставшего орудием производства, писатель разворачивает действие своего произведения на маленьком, в художественном смысле *экспериментальном* участке: «...если б триста

тысяч жили — пороги бы прикрыли, пароходы бы пустили, театров бы понастроили, музыка бы по вечерам играла...».

Человек для людей или человек для себя — за этой, казавшейся нам поначалу главной проблемой В. Тендряков зорко видит другую, которая определяет ее решение: дело для человека или человек для дела. Древний, как сама жизнь, вопрос, *предрешенный* такими вот, как Саша Дубинин, в октябре 1917 года..

Писателю очень хочется, чтобы трудовым людям жилось хорошо, радостно, чтоб интеллектуальный кругозор их был безграничен, чтобы физическая и духовная гармоничность, телесная и нравственная красота, нераздельность личного и общего восторжествовали в мире, ибо «просторна земля и обильна — могло бы хватить счастья всем».

Но как же *сейчас* живут люди нашего общества, как строится их жизнь, где в ней то, что принято именовать ростками будущего? Автор — и здесь корень внутренних противоречий его вещи — не занялся еще тогда пристальным и всесторонним исследованием жизни. Не потому ли даже основные герои сплавщики различными чисто внешне — опытом, положением, поведением, чудачествами; по существу же если лицо — это зеркало души, можно сказать, что почти все они для автора на одно лицо, — ведь они, по В. Тендрякову, *не личности*, лишь орудия труда...

Как, однако, несправедливо и обидно подобное, пусть искреннее, отношение к «простому человеку»! Да разве ему — хоть бы даже такому, каков шолоховский Аржанов, прославившийся на хуторе «дурачком», — разве есть ему нужда в снисходительной жалости? Небось, знай иной жалостливый рассказчик о его жизни все то, что узнал Семен Давыдов об Аржанове за время неспешной своей поездки, не стал бы он торопиться к нему с либеральным сочувствием...

Самый невероятный и, пожалуй, самый грустный из всех парадоксов, какие невольно напрашивались при чтении «Тройки, семерки, туза»: пишущий преимущественно о жизни сегодняшних «простых людей», автор мало знал их, если судить по тому, какими в сущности небогатыми душой и нуждающимися в помощи представляли они порой перед нами из-под его пера.

«Сильные люди всегда просты...» Но недаром же сам народ отличает простоту сердца от простоты ума, говоря, что есть простота хуже воровства. И «простые» сильные герои всей советской литературы в отличие от иных героев В. Тендрякова, не так уж «просты»... Дело тут не только в писательском опыте, не только в степени и складе художественного дарования.

По остроумному замечанию Маяковского, «масса — это много людей, а много баранов — стадо»... Но, скажем, для Шолохова масса — это всегда «много людей», каждый из которых — целый мир, очень и очень отличный один от другого по красоте, организованности, уровню, — но всегда богатый, многоцветный, сложный... Даже и тогда, когда в силу каких-либо трагических исторических обстоятельств эти люди могли вести себя как «стадо»...

Нет, мы не собираемся требовать от писателя, чтобы он показал нам все стороны жизни своих героев, нарисовал перед нами всю обстановку их существования, раскрыл все их взаимные связи и все их отношения с окружающим «необъятным миром». Но самая задача, какую он поставил перед нами и перед собой, с необходимостью требовала достаточной широты и доскональной тщательности в подробностях. Ей оказалось тесно на экспериментальном участке В. Тендрякова, и потому эксперимент во многом не удался, привел к поспешным выводам-обобщениям.

Нет, мы, конечно, правы, отстаивая возможность всех и всяческих тем в литературе, утверждая (со ссылкой на классические образцы), что большие общественные вопросы современности могут быть раскрыты художником и не непосредственно. Но мы с неизбежностью будем впадать в ошибки, стоит подойти к этому положению догматически, не учитывая, что независимость позиции художника от тематики его произведений *относительна*, а требование неразрывной связи искусства с ведущими тенденциями современности, требование жить интересами народа, его думами и чаяниями — *абсолютно*.

Конечно, для того, чтобы, скажем, судить о физическом, о химическом составе и свойствах какого-либо вещества, вовсе не обязательно брать его в гигантском «эпопейном» количестве — достаточен и «маленький ку-

сочек». Но кто же не знает, что существует критический минимум, ниже границы которого вещество уже утрачивает то или иное существенное свойство, приобретает новые свойства, не присущие ему прежде, становится даже другим веществом!

\*  
\* \*

В 1933 году А. В. Луначарский говорил о социалистическом реализме: «Представьте себе, что строится дом, и когда он будет выстроен, это будет великолепный дворец. Но он еще недостроен, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: «Вот ваш социализм,— а крыши-то и нет». Вы будете, конечно, реалистом, вы скажете правду; но сразу бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда. Социалистическую правду может сказать только тот, кто понимает, какой строится дом, как строится, и кто понимает, что у него будет крыша».

Положение это общеизвестно и много раз проверено практикой нашей литературы, но мне кажется важным напоминать о нем: ведь до сих пор случается, что, охваченный стремлением помочь народу, призвать к решению актуальных проблем, писатель почитает главной и единственной задачей борьбу с «недостатками», как бы отмахиваясь от «достижений» — они, мол, путь, пройденный вчера, не до них уже...

Зря, не до них! «Пройденное вчера» — это в действительности, то, что существует сегодня, в сегодняшнем, обуславливая, определяя движение в будущее. Ведь те или иные еще не решенные проблемы, столь ощутимые в различных житейских «историях» и «перипетиях», не разрешаются в экспериментальном вакууме, не укладываются в кубатуру частной квартиры или даже рабочего общежития. И «недостатки» нельзя по-настоящему понять без понимания «достижений».

Нет, писатель, действительно заинтересованный в нашем движении вперед, не может и не имеет права изображать недостроенный наш дворец эдаким лубочным пряничным домиком с веселеньким петушком на высотном шпиле. Но если писатель хочет быть социалистическим реалистом, то есть если он хочет говорить правду о времени, он не может не видеть в самой се-



годняшней жизни то, что определяет ее будущее. «Вот какая история произошла со мной вчера»,— говорит каждый из нас. «Вот какая история у нашего народа»,— так передает нам истинный писатель наши пестрые житейские «истории».

К сожалению, художественный вкус и такт, чувство соразмерности деталей, несомненно, свойственные В. Тендрякову, этому по-настоящему талантливому писателю, никак не могут заменить такта действительно, ощущения соразмерности различных сторон жизни, их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Верно, читатели благодарны ему уже за одно то, что всей силой своего таланта он боролся с недостатками в нашей жизни. Но всей ли,— вот ведь в чем вопрос! Да и бороться с недостатками можно по-разному. Думается, вряд ли не унижала талант «добрая» услужливая критика, снисходительно отводящая ему, впрочем, почетную и вполне уважаемую в лесу роль усердного симпатяги-дятла, с которого, помимо борьбы с вредными жучками да личинками, и спроса нет... Не вернее ли было чаять в писателе знающего и толкового лесоведа? Притом, хорошее перо — оружие-то куда более крепкое и острое, чем дятлов клюв...

К счастью, писатель не остановился в своих исканиях, продолжает развиваться, интенсивно работает — и притом вглубь. Мысль художника снова и снова возвращается «на круги своя»; две последние его повести — «Чрезвычайное» и «Короткое замыкание» — с новой силой, с новой свежестью и, пожалуй, гораздо отчетливее ставят перед читателем по существу те же жизненные и в связи с ними художественные проблемы, какие подчас лишь намечались в прежних его работах.

\*

\* \*

«Как поступить? Что предпринять? В. Тендряков вместе с героями повести ищет решения»,— говорится в издательской аннотации к «Чрезвычайному». Обычно книжные аннотации составляются без особого тщания (однажды в библиографическом бюллетене «посвятили» леоновского «Вора» не больше, не меньше, как теме борьбы с уголовными элементами!), но здесь сказано на редкость точно.

«Как-то надо иначе. Как? Не знаю»; «Как это сделать, Конкретно! — Как?.. Давайте думать», — таких вопросов немало на страницах повести, а главное — автор действительно почти не имел заранее готовых ответов; вместе со своим главным героем, старым педагогом Анатолием Матвеевичем Махотиным, он всерьез ищет решения весьма сложных жизненных задач.

Своеобразие коротких повестей В. Тендрякова, начинающая с «Ухабов», выражено в названии новой повести весьма откровенно: за основу берется *чрезвычайное* происшествие, из ряда вон выходящее явление: смертельное ранение в результате автомобильной катастрофы («Ухабы»), новоявленная икона, избивание мальчика фанатичной бабкой, доводящее его до попытки самоубийства («Чудотворная»); приход отпетого уголовника в трудовую среду и убийство его в самообороне («Тройка, семерка, туз»); непредумышленное убийство на охоте («Суд»); верующая в бога десятиклассница-комсомолка, дочь ответственного райкомовского работника, и — в той же школе — верующий учитель («Чрезвычайное»); авария на линии электропередачи, повлекшая за собой жертвы («Короткое замыкание»).... Однако в этой сознательной, иногда даже нарочитой установке на происшествие, запутанный случай, а то и юридический казус вполне очевидно столь же трезвое и осознанное стремление автора в *случае* проследить *закономерное*, в экстраординарном рассмотреть до поры до времени скрытые, но постоянно действующие силы.

«Великое дело — случай», — думал один из героев повести «Короткое замыкание» главный диспетчер энергосистемы Василий Васильевич Столярский. Он мечтал о каких-то необычайных обстоятельствах, в которых сможет наконец проявить себя, — пока же «просто служил», «изо дня в день жил в опаске, всегда чего-то боялся — листка бумаги с официальным грифом, телефонного звонка в нерабочее время», а больше всего гнева Соковина, управляющего энергосистемой...

И что же? Как раз во время его дежурства происходит серьезнейшая авария на линии, — и Василий Васильевич теряется, медлит, не может ни на что решиться, хоть вообще-то он знает, как надо бы поступить... «Шел с оглядкой, не осмеливался ступить дальше отмеренного, а еще мечтал о звездном часе, о дерзнове-

нии, о проявлении каких-то дремлющих сил. Где уж...». Не вышло из Столярского капитана Тушина. И не могло выйти. Так случилось, как должно было случиться.

Потеря драгоценных мгновений стоила слишком дорого: примчавшийся на диспетчерский пункт управляющий Иван Капитонович Соковин вынужден отключить на пятнадцать минут весь город.

И вот на химкомбинате беда: «несчастный случай со смертельным исходом».

Погиб человек. Кто виноват? И можно ли было предотвратить несчастье? Таковы нешуточные вопросы, которые задает писателю жизнь, и ответ на них, понятно, нужен и ему, и нам не столько ради того, чтобы разобраться в одном чрезвычайном происшествии. Случай есть случай, всего предусмотреть нельзя, но что же в этом или подобном случае закономерно? И главное, что же нужно изменить, поправить, наладить, чтобы нежелательные последствия любого случая не нарушали определяющей закономерности нашего строя, созданного и существующего ради и во имя самого ценного на земле — человека, человеческого счастья, жизни? Таков высокий смысл задачи, предлагаемой В. Тендряковым читателю.

Писатель справедливо опасается упрощенных, прямолинейных решений и потому стремится строить фактическую основу своего повествования на ситуациях и поступках, юридически неподсудных.

Да, Евгений Иванович Морщихин верует, но ведь он не ведет религиозной пропаганды и вообще тщательно скрывает свои убеждения; с обязанностями учителя вполне справляется, и преподает-то он предмет, никак не затрагивающий вопросов мировоззренческих,— математику...

Да, Столярский растерялся, но ведь он руководствовался дополнительным (аварийным) праздничным графиком (дело произошло под Новый год), утвержденным высоким начальством; и судить его должны были бы как раз за отступление от этого графика... А те, кто подписал дополнительный график, и, в частности, управляющий энергосистемой Соковин,— разве они могли предположить необходимость отключения первого фидера, на котором — ресторан «Восход», где готовится новогодний прием высокого иностранного гостя... Да, Со-

ковин, не раздумывая, отключил всех, в том числе не только ресторан «Восход», а и химкомбинат,— но его нельзя винить в смерти Саньки Горяева, ибо он спасал весь город, «у него не было другого выхода»... И, наконец, оказывается, что Санька-то погиб в башенном цехе химкомбината не из-за выброса кислоты, *не из-за аварии!* Рабочие отделались несколькими ожогами, успели выбежать из цеха, как только погас свет; Санька же бросился закрывать заслонки, думая остановить производство, полез и — сорвался, упал, ударившись головой...

Чрезвычайное в искусстве, как известно, не только не заслоняет, но, напротив, помогает наиболее остро и ярко выявить обыденное. Вообще говоря, в так называемой обыденной жизни нет ничего «обыденного» — каждое мгновение индивидуально, неповторимо и в этом смысле в той или другой степени чрезвычайно... Сила и, я бы сказал, «фокус» художественности — это ведь как раз и есть фиксация сути в явлении, общего через частное, через «казус», индивидуальный случай. Ленин очень точно заметил, что житейские «казусы» надо разрабатывать «в романе», ибо в них «*весь гвоздь в индивидуальной обстановке, в анализе характеров и психики данных типов*».

И вот что интересно: поставив в центр каждой из своих последних повестей некое из ряда вон выходящее событие, В. Тендряков увлекает затем читателя последовательным и продуманным низведением чрезвычайного к обыденному. Что может потрясти сильнее, чем смерть человека! Но В. Тендряков сознательно не желает «играть» на струне, отзывающейся в душе каждого; он ее лишь трогает, а когда в ответ начинают резонировать многие другие — внезапно останавливает, заставляя вслушиваться именно в их музыку. И убийство в «Суде», или в «Тройке, семерке, тузе», или, наконец, в «Коротком замыкании» на поверку оказывается *не* убийством.

Что же, просто несчастный случай, только несчастное стечение обстоятельств? Да, если смотреть на происшедшее лишь с точки зрения формальной — отвечает писатель, по ходу своего тщательного «разбирательства дела» вводящий все новые и новые, «данные», парадоксально «поворачивающие» первоначальные условия за-

дачи... Но нет, если всмотреться в существо чрезвычайного происшествия,—убеждается он сам и убеждает читателя, вникая в характеры и образ жизни своих героев.

Но, разумеется, убеждает лишь в той степени, в какой конечные выводы автора не умозрительны, а действительно найдены в самой жизни... Вот почему мне представляется очень важным то *незнание*, в котором теперь искренне может признаться автор, на самом деле принимаясь за глубокое изучение сложных жизненных «перипетий», за исследование многообразных людских связей и опосредований — личных и вместе с тем общественных, индивидуальных и одновременно общих. Вот почему две последние повести В. Тендрякова, на мой взгляд, знаменуют собой весьма важный его шаг на пути художественного исследования современности. Самое главное: писатель с новой силой и жадой потянулся к изображению индивидуальной обстановки, к анализу характеров и психики данных типов. И думается, с этой точки зрения его опыты в романистике («Тугой узел» и, особенно «За бегущим днем») еще недооценены ни им самим, ни критикой.

\*  
\* \* \*

Спорту нет, В. Тендряков *еще далек* от «Падения Ивана Чупрова» или от «Не ко двору». Но нельзя не видеть, что он и *уже далек* от тех первых своих произведений — прежде всего по смелости и широте в постановке проблем, по общественному темпераменту. Разве можно себе представить, чтобы В. Тендряков вернулся, скажем, к той робости, что водила его пером, когда он — ради наивного «противопоставления» — рядом с живой, исполненной неподдельного драматизма фигурой Чупрова написал бескровного, риторического Никиту Бессонова, который — как все оказывалось просто! — став председателем соседнего колхоза, «через тот же (!) сельхозснаб» достал кровельное железо, строится и богатеет, вовсе не испытывая ни соблазна, ни нужды в скользких путях, на которых оступился и сломался Иван Маркелыч Чупров... С другой стороны, сегодняшний В. Тендряков уже далек и от «Ухабов», и притча о главном диспетчере Столярском, испугав-

шемся инструкции, и об управляющем энергосистемой Соковине (который в свое время воспротивился невыгодному предложению, сделать химкомбинат энергетически самостоятельным, независимым от общей энергосистемы) посложнее и куда жизненнее, нежели та притча о директоре МТС Княжеве, хотя «мораль» и тут и там одна: никакими инструкциями не предусмотритишь и никакими выгодами не окупишь смерти Саньки Горяева.

Шахматные задачи бывают разные. В одних в качестве заданного условия предлагается результат игры: при данной комбинации данных фигур белые начинают и дают мат в столько-то ходов. В других же результат игры — искомое; дана лишь комбинация: партия отложена в таком-то положении, и «доиграть» ее можно по-разному. Обнаруживаются гораздо более неожиданные возможности, гораздо более острые ситуации, порой совершенно непредусмотренные теорией. Здесь меньше от физкультуры, от упражнения, больше от спорта, от творчества.

В. Тендряков в последних своих вещах все меньше «разыгрывает», все больше «играет». И если в «этюде» о «чудотворной» не было на поле боя фигуры первого секретаря райкома партии Ващенкова (автор там лишь зачем-то упомянул о его отсутствии), то, поверив в него и полюбив его в романе «За бегущим днем», писатель в «Чрезвычайном» вводит его «в игру» всерьез, отринув какую бы то ни было предвзятость; Петр Петрович Ващенко теперь одно из самых живых лиц повести. И если сплавщики в «Тройке, семерке, тузе» играли лишь свою маленькую роль пешек, то в «Коротком замыкании» безмянные хозяева «Москвича» — муж и жена, также весьма ограниченные в своих возможностях и интересах «простые люди», живущие эгоистичной, замкнутой, неинтеллектуальной жизнью полутруddящихся-полуобывателей — эти «пешки», обе, сначала одна, потом другая, ход за ходом оказываются «проходными», обнаруживают свою способность и готовность стать «ферзями»... А образ Саньки Горяева! А биография Соковина-старшего!..

К сожалению, еще пока и сейчас многие новые страницы В. Тендрякова, написанные уверенной рукой мастера, в конечном счете вдруг оказываются лишь эта-

ким капустным листом, который сам же автор поспешно обрывает и отбрасывает — один за другим — ради голой кочерыжки-вывода, продуманного и высказанного еще в «Тройке, семерке, тузе».

Дело человеком ставится, а мы сплошь да рядом смотрим на человека через трубу газопровода, через рулон чертежей, через статор турбины — ракурс, изблюбленный газетными репортерами... Такова реальная, жизненная основа размышлений писателя. «Учеников судим — тот хорошо учится, этот средне. Характеры отличаем — усидчив, неусидчив, собран, разбросан, со смекалкой, или без оной», — бичует себя Махотин в «Чрезвычайном». «То, что лопаточка в турбине гуляет, вы знаете, а кто возле турбины стоит?.. Много ли вы знаете об этом Золотюке? — вторя директору школы обвиняет Столярский Соковина в «Коротком замыкании». — Фамилию, имя-отчество, что он халатен или старателен, сведущ или несведущ в работе. Кроме рабочей оценки, вы ничего не знаете... У любого из нас есть свои привязанности, свои взгляды, свои мысли и мнения. Интересует вас, скажем, мнение Золотюка, или, скажем, мое? Нет, Иван Капитонович, какое вам дело до чьих-то взглядов и мнений. Лопаточка гуляет — это куда важнее».

Но это и действительно величайшая проблема всего переходного периода от предыстории к истории человечества: возвращение человеку человеческого, отчуждавшегося разделением труда, товарным производством, деньгами... И разве же случайно об этот острый угол ушибся еще А. Володин, заявивший в своих «Пяти вечерах», что «за день» ничего существенного с человеком не происходит, ибо по-настоящему живут люди «вечерами»?.. И разве выдумал В. Кожевников своего Балуюева, вокруг которого критики ведут сражения как раз по вопросу о том, что же главное для этого начальника строительства газопровода: «человек» или «дело»?... А «Зуб мудрости» В. Липатова (между прочим, эта повесть первоначально даже так и называлась: «Человек и машина»), а роман А. Калинина «Запретная зона» — и еще не одна серьезная книга последнего времени, — разве они, так или иначе, не о том же?..

В. Тендряков и в последней своей повести по-прежнему склонен формулировать вопрос как альтернативу:

или — или. Или нерентабельная ТЭЦ на химкомбинате, или гибель Саньки Горяева. Или инструкция, или жизнь. В цитате из монолога Столярского я до поры опустил очень в этом смысле решительную характеристику, какую он дает «деловому» подходу к человеку, «рабочей оценке». Столярский запальчиво утверждает: «А ведь это лишь крохотная частичка человека». И повторяет настойчиво: «Крохотная!..» А вот еще более важное место в этом бурном монологе, заключающее его: «Энерго-сис-те-ма... Система, само слово говорит, общее, взаимосвязанное. Машины-то, действительно, и связаны и объединены, они-то органически живут в системе. А люди? Люди — сами по себе... Вас называют железным организатором. Ваш железный талант сковал стальную цепь, она достаточно крепка, не часто ломается, а человеческой натуре в ее стальных кольцах, простите, тесновато. И что самое неприятное, порой этого не подозревают, считают нормальным».

Василий Васильевич, как видим, подводит весьма солидную социальную базу под свою нерешительность, чуть не приведшую к самому страшному — к полному развалу энергосистемы. Грозил «долгие часы, а то и дни — тьма, окоченевший город с мертвыми заводами и фабриками...» А Столярский, от которого все зависело в этот критический момент, неспособен служить системе, бессилён спасти ее именно и только потому, оказывается, что якобы сама эта система сделала его роботом, безвольным исполнителем. «Как кибернетическая машина при неточной программе, застопорил... Машина без взлетов и падений, не умеющая рисковать, машина с наперед рассчитанным рабочим режимом, она не оправдала надежд... Надо было раньше бороться за право быть человеком».

Примечательно в этих декларациях и призывах Василия Васильевича, что все его обвинения вызваны отнюдь не человеколюбием, не мыслью о катастрофе, грозившей всему городу, или хотя о том Золотуке, с которым не хотят считаться... Василий Васильевич, конечно, защищает и не систему, которой отдал всю жизнь и которая, по его логике, сама в себе, в своей организации таит, оказывается, угрозу собственной катастрофы, а то и гибели. Где уж!.. Столярский — философ



поневоле, и защищает он этой философией себя и только себя.

Но ведь нормальная работа системы, налаженность связи машин, надежность их «железной цепи» находят-ся-то в прямой зависимости от человеческих качеств людей, управляющих машинами! Системой машин (и это отчетливо доказывают ее аварии, когда самое мудрое автоматическое управление неспособно предотвратить катастрофу) может и должен руководить только человек, не робот. Противоречия между организацией людей и организацией машин, недостаточная организованность или неполная органичность связей между людьми, их отношений друг к другу, бедность или односторонность человеческой природы — все это, действительно, никак нельзя считать нормальным. Но, что бы ни думал по этому поводу управляющий энергосистемой (а если он считает такого рода противоречия нормальными или даже вовсе о них не подозревает,— дело, действительно, плохо), сама-то энергосистема только тогда «достаточно крепка, не часто ломается», сами-то машины только тогда и постольку «действительно и связаны и объединены», когда и поскольку люди живут не «сами по себе». Иными словами, в обществе объективно и непреложно действует и движет им закон соответствия производственных отношений производительным силам.

...Увы, в обществе честных, образованных и неглупых инженеров из повести «Короткое замыкание» очень, однако же, трудно решиться на произнесение этих слов... Так и видишь недоуменную физиономию Ивана Капитоновича, брезгливо-снисходительную гримасу Вадима, равнодушное, отсутствующее выражение лица Василия Васильевича... Так и ждешь от Вадима готового ярлычка: «догматик»... И милая десятиклассница Лена, Елочка,— она ведь, наверное, с большей охотой поверит Вадиму...

«Слабый человек стал господином планеты, не так далеко то время, когда он станет господином солнечной системы. В этом растущем господстве высокий смысл его жизни... Жить для великого господства над природой — значит жить для силы. Не только машина служит человеку, но и человек, если он хочет остаться самим собой, обязан служить машинам. Так думал

Иван Капитонович». Любовь к человеку? «Моя любовь в машинах, она весома, вещественна».

Как думал Василий Васильевич, мы уже знаем.

А вот как думает Вадим, двадцатидевятилетний сын и главный оппонент Ивана Соковина: «Всякая экономическая выгода должна отступить, когда речь идет об охране здоровья и жизни человека». А насчет любви, воплощенной в ткацких станках, в лампочках, котлах, трамваях, электричках и прочем, он думает вот что: «Машины эту весомую любовь еще могут выносить, они железные, а люди гнутся».

«Господин планеты», «жить для силы», «всякая выгода», «человеческая натура»... Попробуйте-ка заикнуться под эту музыку насчет того, например, как Маркс, критикуя Готскую программу, утверждал, что в первой фазе коммунистического общества *«равное право» «по своему содержанию есть право неравенства, как всякое право»*, ибо «по своей природе право может состоять лишь в применении равной меры; но неравные индивиды... могут быть измеряемы одной и той же мерой лишь постольку, постольку их рассматривают под одним углом зрения, берут только с одной *определенной* стороны, как в данном, например, случае (т. е. в отношении заработной платы — *Д. С.*), где их рассматривают *только как рабочих* и ничего более в них не видят, отвлекаются от всего остального».

Вам скажут: а как же «человеческая натура»?

Попробуйте-ка напомнить, что, по Марксу, средства, требуемые экономической необходимостью, исчисляются «на основе наличных средств и сил, отчасти на основе теории вероятности, но они никоим образом не поддаются вычислению на основе справедливости».

Вас спросят: а «охрана здоровья и жизни человека»?

Прошу прощения у Василия Васильевича и у Вадима, но еще раз все-таки позволю себе напомнить им слова Маркса, адресованные составителям Готской программы: в 1875 году Маркс считал большим преступлением, когда «желают извратить реалистическое понимание, с таким трудом привитое партии, но теперь уже пустившее в ней корни, идеологическим, правовым и прочим вздором...»

Реалистическое понимание жизни, лежащее в основе нашего мировоззрения и нашей практической деятельности, конечно же, ничего общего не имеет не только с прекраснодушным идеалистическим фразерством, но и с бездушным фатализмом вульгарного материалиста, игнорирующего сознательную роль человека и общества в целом. Да, не бывает войн без убитых,— можно ли с этим спорить! Но мы яростно и безоговорочно спорим и будем спорить не только с тем, кто на этом основании не пойдет и не поведет на праведный бой, но и с тем, кто, рассчитывая боевую операцию, станет так или иначе *исходить* из того, что все равно, мол, война есть война, и без жертв не обойтись... Нет, никакая цель не оправдывает любых средств! Цель «оправдывает» только единственно необходимые и единственно возможные средства, а такие средства, коли на то пошло, никогда и не нуждаются в оправдании.

«Вблизи трудно окинуть взглядом грандиозное,— философствует в повести «Короткое замыкание» жалкий, нравственно задавленный своим управляющим плановик Шацких,— люди обычно видят частности, единичные случаи: такой-то Петр Сидоров обижен, такой-то Сидор Петров несправедливо обойден. Ворочая громадой, Иван Капитонович неизбежно кого-то придавит, неизбежно по чьим-то судьбам пройдут трещины, чья-то жизнь расколется. Что ж прикажете — над каждым случаем лить слезу, ломать руки, собирать, склеивать, нянчиться...»

Мерзкая философия! «Люди» не хуже Шацких или «самого» Ивана Капитоновича (который, надо полагать, разделял эту «государственную» точку зрения), а может быть, и лучше их способны осознать любое, самое грандиозное — ведь это же они, «люди», прежде всего они, а не один Иван Капитонович «ворочают громадой», ведь это же их делом поручено управлять Ивану Капитоновичу, и именно потому, что у него такая *должность*, он *не должен* ни обижать никого из них, ни быть несправедливым. Не из абстрактного человеколюбия, не потому, что надо возлюбить ближнего своего, сочувствовать и сострадать ближнему — пусть этим пока тешится милая Елочка! — а потому, что уже не имеет

права: таков экономический строй и таково обусловленное им культурное развитие общества. Такова *система*.

Понял ли это Иван Капитонович Соковин? Увы, писатель поставил его пока только в положение, из которого он способен вынести «лишь» то, что не утратил Вадим, не растеряла Елочка: «потребность искренне сочувствовать другим, не оставаться равнодушной». «Саньке действительно ничем не поможешь,— размышляет Вадим,— но переживания никогда не проходят бесследно. Они заставляют думать, они делают человека мягче, отзывчивее, глубже. А разве этого мало? Разве это пустое? Шарахаться от переживаний, стыдиться их — обкрадывать себя, а вместе с собой и всех».

Мысль об «ответственности за других» (по-моему, прежде всего предполагающая ответственность перед другими), как-то сама собой расплылась в требование и потребность «волноваться и думать за других»...

Что ж, конечно, и это немалое, и это не пустое... Однако не уверен, что среди любителей попереживать и поволноваться нет людей духовно и душевно примитивных, неспособных на глубокое, интенсивное чувство, черствых к ближним и дальним своим...

Мать и теща поздравляют Вадима с рождением дочки. А он переживает смерть Саньки. «Не поможешь... К чему? Одни пустые переживания»,— отвечает мать. Но он не возразил ей, не рассказал о Саньке, не приобщил к своему горю. Почему? «Она, эта трезвая, по-своему мужественная женщина, которую он любил, жила в четырех стенах, считала своей обязанностью оберегать эти стены от враждебности того безбрежного мира, что окружает их. Кто-кто, а она всегда делила счастье на свое и чужое. Не поймет».

Эк он ее разделал, снисходительно любящий гуманный сын! Может, конечно, у Ивана Капитоновича жена непременно должна быть под стать своему мужу... Но почему так уж непременно должна?

А Елочка, тоже умеющая искренне сочувствовать другим, не оставаться равнодушной... Конечно, она еще наивна, но как, однако, человечно ее наивное желание, чтобы подменили на дежурстве Василия Васильевича: «У него же уважительная причина — дочь рожает»... О, она всецело понимает Вадима и на протяжении всей

повести настойчиво выясняет: неужели и ее папа, которого она тоже любит, главный инженер энергосистемы Игнат Голубко, такой же, как управляющий, как начальник планового отдела?

Происходит авария. Соковин-старший и Голубко не на шутку встревожены, уезжают на диспетчерский пункт. Уезжает и Вадим — он беспокоится за химкомбинат, где работает главным энергетиком. Наверняка дело нештучное, коли начальники за четыре часа до нового года кинулись в другой конец города. Но Елочка, видно, в том, что касается дела, привыкла быть вполне уверенной и в своем отце, и в отце Вадима, не говоря уж о нем самом... И она совсем не думает об аварии, смотрит на Шацких «непримиримыми вопрошающими глазами» и спрашивает: «А папа... Мой папа тоже?»

Внезапно гаснет свет. «Кажется, авария не на шутку... Весь город без света. Весь город!» — изумляется Шацких. Телефон отключен. И в роддоме, где сейчас должна родить дочь Столярского, жена Вадима, тоже ведь погас свет...

Как только зажгли свечу, «Елочка, тряхнув волосами, подняла глаза на Шацких.

— Я хотела спросить...»

Нет, Елочка спрашивает не о том, какой может быть авария, каковы ее возможные последствия для города, что, где и как может делать сейчас ее любимый папа... Ее волнует сейчас более важный вопрос:

«...Вы считаете, что мой папа такой же, как Иван Капитонович?»

Шацких уходит от ответа.

«А все-таки, если б папа был на месте Ивана Капитоновича, он поступал бы так же? — упрямо допытывалась Елочка».

Не правда ли, какая трогательная принципиальность! Папа в это время летит на вертолете к месту аварии, к короткому замыканию в высоковольтной линии на сорок первом километре близ деревни Митькин Двор... Папа руководит аварийными работами, бродит в шегольских праздничных туфлях по колено в снегу... А дочка, обладающая драгоценнейшей «потребностью искренне сочувствовать другим, не оставаться равнодушной», спрашивает его из уютной и теплой соковинской квартиры: какой ты? верить ли тебе?

Зато она — обладательница «двух разверстых глаз, готовых сейчас же восторгаться или ненавидеть со всей непримиримостью неполных семнадцати лет»...

Когда-то в отрочестве Вадим впервые ощутил гневное чувство стыда за себя.

Шел второй год войны. Ему исполнилось двенадцать лет, Саньке — четырнадцать. Дима ходил в школу, по утрам мать совала ему в карман завтрак, завернутый в салфетку. Санька ушел в ремесленное. Однажды отец по дороге к бабушке завез Диму на эвакуированный завод. «Посреди поля стояли станки — ни стен, ни крыши, с серого неба моросил холодный, осенний дождь... У одного станка стоял мальчишка. Он был слишком мал ростом, и, чтоб доставал до зажатой в зажимы болванки, ему подсунули под ноги ящик. На спину наброшен кусок старой клеенки, по которой стекает вода.

— До зимы стены не успеют поднять... Среди снега на морозе... После войны я бы памятки таким ставил. — Отец взял Вадима за руку. — Пошли!

Дима узнал Саньку. Тот, как и все, кто стоял за станками, не подымал головы, ничего не видел, ему было не до Димки».

Наступила зима. Вадим по-прежнему спал в мягкой постели, ходил в школу. «Ему было всего тринадцать лет, а своя собственная жизнь казалась ему невыносимой, так как где-то рядом шла иная жизнь, где-то Санька стоял за станком среди снега».

Читая про Елочку, подобное чувство стыда испытываешь и за нее, хотя не знаю, думал ли об этом сам автор, так легко положившись на ее готовность восторгаться или ненавидеть и так снисходительно упомянув о ее неполных семнадцати годах...

Наверное, Вадим Соковин подумает обо всем этом еще и еще раз: ведь он берет на себя ответственность и за Елочку. Он, говорит В. Тендряков в конце своей повести, «ответствен, как друг, как простой знакомый, как человек. Ответствен перед памятью Саньки».

Важная и, пожалуй, самая плодотворная мысль повести! Хочется верить: в другой-то раз жизнь и судьба Варвары Гуляевой, Саши Дубинина, Семена Тетерина, Тоси Лубковой, Саньки Горяева, их прошлое, настоящее и будущее развернутся внутри перед зорким и пытливым взглядом писателя во всей своей парадоксальной

сложности и во всем своем неисчерпаемом богатстве, не потонут в запутанной морализации, не упростятся ради того, чтоб стать простым аргументом — тезисом или антитезисом в системе полемических рассуждений... И где же еще художнику учиться «редкому умению смотреть на настоящее из будущего»? В письме к И. Груздеву Горький говорил об этой основе социалистического реализма в связи с тем, как Ленин критиковал ошибочную позицию писателя в 1917—1918 гг. И коли нужны пояснения к горьковским словам о собственной Ленину *высоте* точки зрения на жизнь, то вот они, эти пояснения, в письме Ленина к Горькому от 31 июля 1919 года: «Если *наблюдать*, надо *наблюдать* вниз». *Внизу*.

---